Окончание. Начало в № 9, 11 за 2016 год

О ПОЭТЕ

Н. И. Рыленков родился в 1909 году в деревне Алексеевка Смоленской области в крестьянской семье. В 1926 году опубликованы его первые стихи.

Николай Иванович окончил факультет литературы и языка Смоленского педагогического института в 1933 году, тогда же вышел первый сборник стихов поэта «Мои герои».

Названия стихотворных книг Рыленкова говорят сами за себя: «Березовый перелесок» (1940), «Синее вино» (1943), «Книга полей» (1950), «Рябиновый свет» (1962). Проникновенный лирик, отдавший дань классической традиции, сумел завершить труд всей своей жизни — стихотворный пересказ «Слова о полку Игореве», в 1966 году вышел отдельной книжкой и неоднократно переиздавался.

Кроме стихов, Николай Иванович писал очерки, рассказы, исторические повести, а его литературоведческие раздумья, собранные под одной обложкой в 1962 году с названием «Традиции и новаторство», — и в наше время необходимое подспорье всем, кто восхищен литературой.

Отдельной строкой прописана в биографии поэта Великая Отечественная война. Пройдена вся бездна человеческого страдания и величия, и довелось вернуться с фронта победителем.

Умер Николай Иванович 23 июня 1969 года, похоронен в Смоленске на Братском кладбище.

Есть что-то от древней Эллады
В тебе, коктебельская синь.

В самом начале сентября 1967 года Н. И. Рыленков писал своей жене Евгении Антоновне: «Чтение на ум не идет. Обдумываю “Коктебельскую элегию”. Евгения Соломоновна Куприянова переписала мне все коктебельские песни. Приеду домой — засяду за работу» (Коктебель, 02.09.1967).

А уже к концу января 1968 года в Малеевке эссе было готово. Это было логическое завершение многолетнего пути познания и осмысления как творчества яркой и самобытной фигуры поэта М. Волошина, так и места, где он жил и творил и которое неразрывно с ним связано — Коктебеля, и отделить их друг от друга просто невозможно.

В ранней юности в духовный мир Рыленкова совершенно неожиданно для окружающих входит поэт М. Волошин и остается в нем на всю жизнь.

«У меня есть более дорогие, более близкие мне поэты, чем Волошин. Но бывают минуты, когда мне хочется открыть именно его книжку, прочесть именно его строки:

Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь,
Ослепнуть в пламени сверкающего ока
И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко
В живую плоть, ведет священный путь.

Под серым бременем небесного покрова
Пить всеми ранами потоки темных вод,
Быть вспаханной землей... И долго ждать, что вот
В меня сойдет, во мне распнется слово.

Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь
Шуршит про таинства возврата и возмездья,

И видеть над собой алмазных рун чертеж:
По небу черному плывущие созвездья».

Любовь к Волошину неизбежно привела и к стойкой привязанности к Коктебелю, который хотя и не являлся родиной поэта, но очень много значил в его судьбе. Крупные поэты всегда играли большую роль в истории любой страны, особенно в переломные моменты. И как отметил Н. И. Рыленков, «любую страну можно понять, только вчитавшись в ее поэтов».

Эссе «Коктебельская элегия» — плод долгих раздумий Рыленкова не только о М. Волошине, но и о судьбах поэзии и России, — было создано за три-четыре месяца и отдано в журнал «Знамя», с которым долго и плодотворно он сотрудничал. Именно там была напечатана автобиографическая трилогия («Сказка моего детства», «Мне четырнадцать лет», «Дорога уходит за околицу»), многие поэтические произведения. Так, в письме от 31 августа 1966 года из Коктебеля Рыленков пишет жене: «В весеннем номере “Знамени”, где напечатаны мои стихи, я обнаружил и рецензию на мой рассказ “Большая перемена”. Рецензия добрая, но поверхностная».

И чаще всего он отдавал написанное по просьбе редакции, а не по собственной инициативе. Поэтому она попала в этот журнал, и автор не ожидал особых осложнений. Но все получилось не так, и в конечном итоге он получил такой ответ:

«Дорогой Николай Иванович!

При дальнейшем чтении “Коктебельская элегия” не встретила поддержки. В разговоре о литературе автор не затрагивает больших общественно значимых проблем; много узколичного в рассказе о писателях и о себе. Как ни прискорбно — рукопись возвращаю.

Не обижайтесь.

С искренним приветом.
5/IV-68 г.
И. Козлов».

Это был финал, резюме довольно длительного обсуждения «Элегии» папы с Иваном Козловым.

Папа только что прошел обследование в онкологической клинике. Дела были неутешительными. Родители решили задержаться в Москве специально, чтобы прояснить вопрос с публикованием этого дорогого для них произведения, а мне необходимо было вернуться на работу.

Прямо на вокзале у провожающей меня мамы случился гипертонический криз, который она посчитала за очередной сердечный приступ. Мама настояла на моем отъезде. В гостинице «Москва» врача не оказалось. Был праздничный день — 8 Марта, но, слава богу, друзья-писатели оперативно нашли хорошего специалиста из литфондовской поликлиники, согласившегося ее лечить. Маму сумели поднять.

Началось выматывающее душу чтение рукописи с сотрудником редакции, которое сводилось к одному — не допустить ее в печать. Все это происходило на глазах у мамы в номере гостиницы неделю или две. Ее вначале очень удивляла позиция папы: он соглашался на какие-то сокращения и правки. Мама сразу поняла, к чему ведет разговор Козлов, а поскольку была человеком не только умным, но и прямым, то спросила папу: неужели ты не понимаешь, что все претензии направлены на то, чтобы ты сам отказался у них печатать «Коктебельскую элегию»?

— Я прекрасно это вижу, но хочу знать, до чего они дойдут в своем желании...

В конце концов терпение у папы лопнуло, он взорвался, высказал все, что думал о позиции редакции «Знамени», отказался и от всех исправлений, и от дальнейшего обсуждения. Козлов, видимо, понимал всю ложность своего положения, ему было неудобно, но кресло есть кресло, терять его не хотелось.

Так «Коктебельская элегия» на много лет ушла в стол, и автор так и не увидел ее напечатанной. Мама прилагала титанические усилия, но долгие годы не могла пробить бюрократическую машину. Она очень надеялась на помощь А. Твардовского, который был редактором «Нового мира», но в конце 1969 года, когда мы были с ней в Москве на комиссии по литературному наследству и привезли рукопись, он был уже болен, жил на даче. Каким-то образом, с помощью друзей, смогли уговорить взять ее Г. Холопова — редактора «Звезды», слывшего очень смелым человеком. Так она появилась в шестом номере журнала за 1976 год.

Сейчас совершенно невозможно понять, почему так рьяно не хотели напечатать эти воспоминания — раздумья о неповторимом уголке Крыма, его обитателях и, в частности, М. Волошине, ставшем символом Коктебеля. Что же было сказано автором, что так напугало идеологов от литературы? Что такое увидели они за «отсутствием общественно значимых проблем», «узколичным» в рассказе о писателях и о себе?

Как мне думается, прежде всего это была сама личность М. Волошина — человека весьма неординарного, высоконравственного, благородного и необычайно человеколюбивого, жившего по законам чести и совести. Я хорошо запомнила, как еще в детстве любила слушать рассказы папы о Коктебеле и Волошине, о его нравственной позиции в годы Гражданской войны, когда Крым переходил из рук в руки то к белым, то к красным, и поэт спасал от гибели то красного командира, то белого офицера. Волошин представлялся мне человеком-легендой, почти мифическим персонажем.

Ко времени создания «Коктебельской элегии» уже несколько ослабело неприятие Волошина в официальных кругах, его иногда вспоминали и печатали стихи, и ходили разговоры даже об издании сборника. Насколько я помню, в Гослитиздате, но, может быть, в «Советском писателе».

13 сентября 1966 года Рыленков пишет: «Вчера я, наконец, собрался сходить на могилу Волошина. Теперь к ней ведет торная тропа. Все туристы считают своим долгом побывать на ней, даже те, кто и слыхом не слыхали о нем раньше. Поздняев говорил, что надо все-таки дать его подборку, и просит поторопиться написать предисловие. Придется заняться, как только приеду домой».

Редко соглашаясь быть составителем книг, для волошинских стихов он сделал исключение и сам предложил подготовить издание, если оно действительно будет запланировано. А Марья Степановна Волошина просто не желала лучшего составителя — вряд ли кто-то лучше Рыленкова знал литературное наследие поэта, как изданное, так и рукописное. Все, что так бережно сохранила она. Но Волошина все же не решились тогда издать.

Кроме того, а может быть, это было даже главным, в тексте эссе совершенно ясно и однозначно проступает позиция самого автора, его честность, пытливый ум, способность отделить существенное от второстепенного, умение приникать в суть явлений и поступков людей, мотивов, движущих ими.

Да и сам Волошин как поэт был на голову выше многих хотя бы уже потому, что сумел подняться над мелким и суетным и, как писал Рыленков, «...смысл художнического подвига он видел в умении противостоять грозам века и остаться под ними самим собой». А этим могут гордиться очень немногие. Высокое понятие человеческого достоинства, которое Волошин сумел сохранить и не уронить в самых суровых испытаниях, глубокая любовь к родине, которую он не захотел покинуть, — все это всегда задевает временщиков как от литературы, так и от политики.

«Коктебельская элегия» — это прекрасный образец лирико-философской прозы, а не простое воспоминание о былом. В ней живет высокий «коктебельский» дух, отражена атмосфера уникального природного и интеллектуального уголка земли, какие-то особые черты его обитателей, вспоминаются деятели культуры, бывавшие там. И все же главное, на мой взгляд, — это фигура Волошина, настоящего русского поэта и совершенно замечательного человека. Человека европейской культуры с поистине русской душой со всеми его большими достоинствами и маленькими недостатками. И это сделано, не прибегая к мифам и домыслам, на основе глубокого анализа его жизненного и творческого пути, сложной эпохи, в которую он формировался как совершенно уникальная личность. Это философское осмысление судьбы и времени, взаимоотношения поэта и власти, временного и вечного.

Картина Коктебеля настолько зримо предстала по стихам Волошина перед Рыленковым, что он заочно полюбил его задолго до личного знакомства. А побывав там впервые, всем сердцем прикипел к нему. Он был однолюбом и в жизни, и в творчестве, его характеризовало постоянство, которое ничего общего не имеет с узостью взглядов, хорошо знал ему цену.

Перед войной побывал в Коктебеле дважды — в 1938 и 1939 годах. Связано это было не только и не столько с желанием увидеть волшебные волошинские места, а с тяжелой болезнью старшей дочери, у которой была бронхиальная астма. Врачи настоятельно рекомендовали свозить ее к морю. Разумеется, был выбран Коктебель, тем более что там можно было отдыхать с детьми.

К этому времени Волошина уже не было. Дом матери (или так называемый старый дом), переданный им Союзу писателей, превратился в Дом творчества. Заочная любовь, зародившаяся под впечатлением стихов, превратилась в прочную привязанность, а Коктебель — в место, где можно было отдохнуть душой, очиститься от всего суетного и мелкого, подумать о прожитом и пережитом, встретиться с друзьями и знакомыми, многих из которых он мог увидеть только здесь, поговорить о том, что тревожит душу.

На вечере поэзии, состоявшемся в первый же приезд, председательствовал старый знакомый Рыленкова Иосиф Уткин, который и уговорил его принять в нем участие. Поэтов было немного: Всеволод Рождественский, сам Уткин и несколько поэтов с периферии. Большинство участников, готовясь к вечеру, написали специально что-то о Коктебеле. Но Рыленкову чужда была скоропалительность. Ему нужно было время, чтобы впечатления прошли через душу, отстоялась и из них выкристаллизовалась суть, о которой можно и нужно рассказать читателю. В принципе, для него не характерны стихи по тому или иному случаю, ему надо было «выстрадать» их. Поэтому прочел несколько лирических стихотворений и отрывок из поэмы «Земля», где говорилось о войне четырнадцатого года. По сути, в нем отразились не только боль за страдания народа, но и, что не менее важно, предчувствие новых войн, протест против них. Кстати, мне думается, что это сближает Рыленкова с позицией Волошина, писавшего:

Не сеятель сберет колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.

Страшная картина с толпами беженцев, увиденных им в раннем детстве, повторялась и в 1941 году в еще более жутком варианте.

Вечер этот подарил Рыленкову и многолетние добрые отношения с очень известным литературоведом профессором Николаем Леонтьевичем Бродским. Подробно разобрав и похвалив лирику, Николай Леонтьевич об отрывке из поэмы заметил только, что не рекомендовал бы его читать, а уж тем более печатать, так как автора могут обвинить в пацифизме, а это очень серьезно.

Рыленков понимал, что Бродский предупреждал его из самых добрых побуждений, но и отказаться от написанного не мог, не изменяя себе. Кроме того, поэма была включена в новый сборник, который готовился к выпуску.

Коктебель настолько пришелся по душе всем членам семьи, что на следующий год для поездки к морю о выбора места не думали. Только Коктебель. Да и на здоровье дочери он хорошо повлиял, и нужно было закрепить успех. Опять там были Уткин и Бродский. Николай Леонтьевич, как полагается профессору старой школы, подробно заговорил о стихах, входивших в сборник «Колосья», подаренный ему в предыдущем году, а Николай Иванович жил уже новой книгой — «Истоки», куда вошла и поэма «Земля», отрывок из которой вызвал столь острую реакцию.

Бродский выразил уверенность, что сможет убедиться в творческом росте поэта и поэтому будет рад ее прочесть. Но разговор о стихах в то лето не состоялся, оказался отложенным на несколько лет. Гроза, пролетевшая над Западной Европой, повернула на Восток и грохотала уже близко — над Польшей. Мирный Коктебель, приют спокойствия и вдохновения, превратился в почти прифронтовую полосу. Шли военные учения на суше и море, введен комендантский час, горы и побережье патрулировали пограничники, с наступлением темноты море и берег просматривались в свете прожекторов.

На территории писательского дома не было радио: считалось, что это мешает творческому процессу, и за новостями ходили в другие дома отдыха. Сообщения газет и радио становились все тревожнее, все явственней запахло войной. Отдыхающие стали разъезжаться, не ожидая срока окончания путевок. По вызову военкомата уехал и Рыленков с семьей. А погода, как назло, стояла великолепная. Вот что он писал об этом: «Так, в сущности, коктебельские дни того позднего лета и ранней осени оказались последними мирными днями моей молодости. С тех пор тревоги почти не прекращались».

Весной 1939 года финская кампания унесла жизнь коктебельского приятеля Рыленкова — Ивана Кутасова из Петрозаводска, который так и не успел определить свой путь в поэзии. Все тревожнее становилось в мире; все ближе война подкатывалась к границе страны. Об отдыхе и поездке в Коктебель уже и не думали. Предчувствие скорой войны росло с каждым днем. Его усилило и чтение купленной в Москве у букинистов книжки Волошина «Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы». В ней его поразило предисловие. Думая о нем, он понял, что если такие неисчислимые беды принесла Первая мировая война то, что будет в следующую?

В начале мая 1941 года Рыленков пишет стихотворение «Он с финского фронта вернулся в село» и отдает в газету. Секретарь редакции Илья Иванович Киселев, имевший большую власть в ней, категорически отказывается печатать его, так как оно подтверждает «вздорные разговоры о неминуемой войне», но предлагает напечатать любые другие, хотя бы и самые распейзажные. Реакция секретаря совершенно понятна: бывшему белому офицеру ни к чему были обвинения в распространении вредных слухов. Стихи печатались тогда только по воскресеньям, и редактор, которому оно понравилось, все же решил настоять на своем и опубликовать. Так, в роковой день для страны — 22 июня 1941 года — появилось это стихотворение. Папа в это время уехал с М. В. Исаковским на несколько дней в деревню. Там их и застало сообщение о начале войны. Пришлось спешно возвращаться. На станции «сверхбдительные» граждане посчитали их немецкими шпионами — оба в шляпах, оба в очках. Последовал арест, но, быстро выяснив, кто это, их отпустили.

В письме от 22 июня 1943 года из Москвы Рыленков пишет: «Видел недавно профессора Бродского. Помнишь, мы с ним отдыхали в Коктебеле? Был он в Ташкенте, сейчас вернулся в Москву. Очень хвалит мои стихи. Познакомился с Чуковским Корнеем Ивановичем. Тоже хвалит старик. Но это так, к слову».

Естественно, что во время войны в письмах, тщательно проверяемых цензурой, он не мог написать главного, что сказал тогда ему Бродский в доме литераторов. А сказал он следующее: «А вы как в воду глядели, когда написали в своей поэме:

По дорогам русским в беспорядке
Разогнала беженцев война,
Их встречают воплями солдатки,
Выкликают мертвых имена.

Я не раз приводил эти строчки своим студентам. Отсюда, да еще от “Молитвы солдатки” из той же поэмы идет вся ваша военная лирика. Я искренне рад, что встретил вас и могу вам сказать это. В Коктебеле я был не прав, когда предостерегал вас от таких вещей. Время было, сами знаете, какое тревожное тогда.

Если удастся снова встретиться на коктебельском берегу, поговорим по-другому».

Но на коктебельском берегу им не пришлось поговорить, так как профессор по здоровью уже не мог туда ездить, и встречались они лишь в суетной Москве.

Родителям же очень хотелось вновь побывать в Коктебеле, сбросить хоть на короткое время накопившуюся за много лет усталость, освободиться от тяжкого груза нечеловеческих испытаний и переживаний военных лет, погрузившись в атмосферу первозданной чистоты этого необычного уголка.

Точного года открытия Дома творчества после войны я не помню, но думаю, что не ранее 1945-го. А папа начал туда ездить с 1946 года и бывал там ежегодно до 1967-го. И теперь уже, как правило, в сентябре.

Открылся он опять, как и впервые, в доме Волошина. Остальное предстояло либо восстановить, либо построить заново. Не было электричества, плохо было с пресной водой и т. п. К неудобствам быта родители были привычны. Они весьма скромно жили и до войны, а во время нее и говорить нечего — голод и холод были тогда их постоянными спутниками. Хуже всего было то, что питание осуществлялось по продуктовым карточкам и в соответствии с их категорией. Карточная система, введенная в войну, не была еще отменена. А дома оставалось три человека, имевших карточки иждивенцев с очень скудным пайком. На рынке же можно было купить многое, в том числе и рабочие карточки. Так мама и сделала, чтобы оставить свою (научного сотрудника) и папину (секретаря Союза писателей) нам. Но воспользоваться маминой карточкой не пришлось. Получить ее до отъезда не смогли, а когда за ней пошла сестра, то оказалось, что она уже отдана Д. П. Маковскому, довоенному знакомому папы. Демобилизовавшись из армии, Даниил Павлович жил «временно» у нас, не желая по личным причинам возвращаться в семью. Он нигде не работал и, естественно, карточек не имел. Так появился четвертый иждивенец. Мы привыкли, что у нас почти постоянно в доме обитают то родственники, то знакомые. Но не откровенные наглецы. Маковский договорился с директором краеведческого института В. Ф. Шурыгиным, где мама работала, чтобы ее уволили, а его взяли на это место: ее муж прокормит, а мне нужна работа. А официальная формулировка — часто болеет (война наградила плевритом). Тут, конечно, сказалась и непорядочность директора, которому мама, возглавлявшая профсоюзную организацию и не дававшая в обиду сотрудников, мешала. Это было вопиющее беззаконие, которое легко было решить через суд. Но папа, не любивший скандалов, уговорил ее уйти с работы и заниматься домом. Кроме того, папа очень нуждался в помощнице, а она была отличным секретарем — образованным, хорошо печатала и, что очень важно, легко разбирала папин почерк, который никто из машинисток не понимал, делая массу ошибок.

Отдыхающих было мало, около полутора десятков, почти все бывали в Коктебеле до войны и были им хорошо знакомы. Собрался тесный круг старых друзей и единомышленников: Мариэтта Сергеевна Шагинян, художник Михаил Васильевич Куприянов с женой, тоже художницей Евгенией Соломоновной, поэтесса Е. А. Благинина и другие. Сюда входил и искусствовед Александр Георгиевич Габричевский с женой — художницей Натальей Алексеевной, хотя жили они, как тогда говорили, на деревне, но проводили здесь все время. Соскучившись за время войны по духовному общению, все старались наверстать упущенное. Кроме купаний и собирания камней, которым увлекались почти все, находилось время для походов в горы и окрестные бухты, разговоров на все интересующие темы, особенно об искусстве, чтения стихов и даже кукольного театра, организованного Н. А. Габричевской, разыгрывания шарад и различных шуточных сценок, в которых участвовали практически все. Вечера проходили наверху у Марьи Степановны в мастерской Волошина. Я помню, как мама рассказывала, что в одной из шарад она изображала английскую королеву Елизавету. Для костюмов использовали все, что находилось в чемоданах отдыхающих и сундуках Марьи Степановны. Здесь была совершенно иная атмосфера, чем в стране, царил интеллектуальный дух, отодвигая в сторону все житейские невзгоды и переживания, все мелочные заботы и сиюминутные желания, была возможность откровенных разговоров.

Каждый считал своим первейшим долгом побывать на могиле Волошина, отдавая ему должное и как прекрасному человеку, и как фактическому родоначальнику Дома творчества. Это было одной из добрых традиций старых коктебельцев. По желанию самого Волошина его похоронили в седловине горной гряды Кучук-Енишары. Марья Степановна после его ухода долгое время ежедневно ходила туда поговорить с любимым Максом. Но когда я стала там бывать, ей это было уже не по силам, но все равно она выбиралась к нему хотя бы раз в неделю. Приносила камешки и душистые степные травы.

Мы обычно посещали приют Волошина два раза за пребывание: вначале и перед отъездом. Выходить старались или рано утром, или во второй половине дня, так, чтобы не было слишком жарко и в то же время чтобы не возвращаться в темноте, так как сумерек там нет. Скорее всего, в первый свой приезд после войны папа с мамой отправились навестить Волошина, но, видимо, припозднились с выходом, да и хотелось побыть там подольше, вспомнить былое, еще раз

полюбоваться первозданной красотой Коктебеля. Оттуда, как на ладони, видны «всхолмленная, изрезанная балками степь, виноградные долины предгорья, зыбкая синь моря, отвесные кручи скал. Изваянный судьбой и ветрами профиль Волошина надо смотреть тоже с его могилы». Ходили вдвоем, чтобы ничто не отвлекало от дум. Когда собрались в обратную дорогу, то увидели, что вот-вот стемнеет, идти будет небезопасно: тропка в темноте не видна и далеко не везде разминировано. Берег же постоянно прощупывался прожекторами. Поэтому решили спуститься по крутому склону, а дальше продолжить путь берегом. Хорошо зная место еще с довоенных времен, легко преодолели спуск, но под конец наткнулись на колючую проволоку, перебрались через нее и увидели табличку «Осторожно. Не разминировано». Так неожиданно папа опять столкнулся со своей военной специальностью, когда он командовал саперным взводом. Слава богу, что и на этот раз его обошла беда.

Увлечение камнями не миновало в той или иной степени ни одного приезжавшего в Коктебель, особенно в первые годы существования Дома творчества, хотя оно было присуще и многим гостям Волошина. Коснулось оно и родителей, особенно мамы. Но «каменная болезнь» у них не переросла во всепожирающую страсть, заставляющую совершать необдуманные, а иногда и не совсем благовидные поступки типа кражи камней. Неписаные законы настоящих «каменщиков» гласили, что камни нельзя ни покупать, ни подвергать обработке, после которой они теряют свою неповторимость, созданную самой природой, становятся похожими друг на друга. Даже вставлять в оправу необработанные камни многие считали гибельным: они утрачивали свой живой блеск, тускнели.

«Увлечение собиранием обкатанных морем камней рождается, вероятно, из стремления приобщиться к непрерывному ходу времени, ощутить в своих ладонях его работу, увидеть своими глазами его наслоения. Такое занятие, кроме всего прочего, привлекает еще и тем, что оно позволяет одновременно и обдумывать свою собственную жизнь, и совершать далекие путешествия во времени и пространстве. <...> Такие увлечения, как собирание камней, отвечают врожденной потребности человека в чистой красоте, созданной самой природой, так сказать, красоте нерукотворной. Она нужна людям как чистый воздух, как озон. Без нее немыслимо творчество».

Во всех письмах из Коктебеля есть те или иные упоминания о камнях.

05.09.1948. «Погода стоит хорошая, но море бушует. Камней на берегу нет. Куприяновы, говорят, собрали уже замечательную коллекцию».

12.09.1948. «Сегодня только первый день как успокоилось море, и можно собирать камни. Я уже нашел два. Они не первосортные, но все-таки хорошие. Одним словом, начало положено».

12.09.1950. «Вчера я получил сразу два твоих письма, которые доставили мне большую радость, особенно где была вложена фотокарточка. Ира молодец и умница. А сегодня я нашел хороший сердолик с внутренним пейзажем. Вот сколько сразу привалило мне радости».

08.09.1951. «Камней нет. Ждут шторма, тогда, может быть, появятся. Нынче, говорят, и Десницкие ничего не нашли».

11.09.1951. «Сегодня мы с Яшиным и Дудиным еще раз поехали в Лисью бухту, но, увы — совершенно неудачно. Поднялся сильный ветер, и все камни смыло».

16.09.1953. «Вчера я ездил в Козы, но не совсем удачно. Нашел только один сердолик и две собаки хорошие. Еще один сердолик я нашел завчера в Коктебеле».

09.09.1954. «В 7 часов ухожу на берег искать камни. Ничего особенного пока не нашел. На днях собираюсь пробраться в Козы и в Лисью бухту. В Козы организует поездку Куприянова и обещает взять меня. Сегодня в Лисью бухту тайно уехала тетка Лизавета. Вообще, нравы здесь стали еще более гнусными. Просто тошно смотреть».

13.09.1954. «Я все еще не мог попасть ни в Козы, ни в Лисью бухту. Все ездят туда тайно друг от друга, а у меня нет нынче знакомых с машиной. Но хороших камней еще никто не нашел».

17.09.1954. «У Куприяновой украли на днях лучший камень, и она очень расстроена. Я думаю, что это сделала Шагинянша. Она была здесь несколько дней и совсем помешалась».

07.09.1963. «Камней настолько мало, что не собирает их даже Евгения Соломоновна. Ходит по берегу только Г. Санников, но находит такое, что даже не решаюсь сказать ему — насколько это плохо».

Лучшим знатоком камней в послевоенном Коктебеле считался крупнейший горьковед, ленинградский профессор В. А. Десницкий. Один раз, когда приехали в Крым всей семьей, мы жили с ним в одном корпусе под названием «Корабль». Он занимал комнату, в которой в первый мой приезд в Коктебель жил К. Г. Паустовский. Это был высокий, очень худой старик с пронзительным взглядом, весь заросший седыми волосами, загорелый дочерна, одетый в короткие шорты и, как правило, босой. Обычно он сидел на террасе и читал. Нам с сестрой он казался Кощеем Бессмертным. Было ему в ту пору 77 лет. Сам он собирал камни уже лишь на коктебельском берегу. «Добычей» их занимались две дочери и сын, которые были настоящими асами в этом деле. Лучшие камни можно было отыскать главным образом в отдален-

ных бухтах — Лисах и Козах, добирались туда только пешком. Десницкие выходили в четыре-пять утра и шли через горный перевал, спускались в Нижние Отузы (санаторий «Приморье»), а затем берегом в Лисы и Козы. Возвращались тем же путем довольно поздно, во всяком случае, было темно, как я думаю, не раньше десяти-одиннадцати часов вечера. Василий Алексеевич ждал их на веранде, сидя в плетеном кресле, поджав ноги, как Будда. Дождавшись своих охотников за камнями, Десницкий запирался с ними в комнате, где рассматривали и оценивали добычу.

Философ и эстетик Асмус, часто бывавший в Коктебеле, не будучи заядлым «каменщиком», случайно около мужского пляжа нашел очень интересный фернанпикс (так называли полупрозрачные халцедоны в рубашках из морских солей) и показал папе, а он, восхищенный его красотой, рассказал о находке Десницкому. Но Василий Алексеевич, который, как оказалось, уже видел камень, недовольно пробурчал, что считает его ординарным халцедоном. Через несколько дней Асмус, который не коллекционировал камни, подарил находку Десницкому, зная его страсть к ним. Камень действительно был хорош, что, несомненно, знал Василий Алексеевич. Желая похвастаться им и забыв о разговоре, он позвал папу и, как знаток, описал с восторгом все его достоинства.

Десницкий был умным и образованным человеком, с ним было интересно говорить и даже спорить, но только не о камнях. Он совершенно не терпел похвалы камням, не им собранным, а главное, не из его коллекции.

Обычно найденные камни приносили в столовую, и каждый желающий мог посмотреть и оценить находки. Коктебельский фольклор сохранил такой случай. Однажды кто-то из коктебельцев показывал свою коллекцию. Присутствовал довольно ограниченный круг людей. По окончании просмотра хозяин обнаружил отсутствие лучшего камня. Решили всех обыскать, хотя спрятать было практически негде — жара, на людях был минимум одежды. Но камень как сквозь землю провалился. А через какое-то время объявился в коллекции Десницкого. На вопрос, где он мог его спрятать (был он только в шортах), ответил — в ухе. Правда ли это, не знаю, но у него действительно были большие, густо заросшие седыми волосами уши.

И еще об одном «каменщике» в связи с Коктебелем я вспоминаю. Перед отъездом Паустовского в Москву в Коктебель с маленьким сыном пяти лет приехал А. Яшин на своей «победе». Он прибыл с Кавказа, где оставлял машину на зиму. Константин Георгиевич познакомил его с мамой, и, поскольку поэт был молод, он представил его по имени. Обращаться по имени к малознакомому человеку мама считала неудобным и назвала его «сэр». Такое обращение тот воспринял как-то нервно, но потом успокоился. Оказалось, что он уже начинал искать камни, об этом осенью 1951 года писал папа, но, по-видимому, не слишком успешно.

Весной, когда отдыхающих было очень мало, а после многих зимних штормов обновился берег, шансы найти хорошие камни были велики. Яшин был увлекающимся человеком. Страсть к камням захватила его, и он предложил нам с мамой ездить с ним в Лисью бухту и Козы. Я не была фанатичным искателем, любила их просто за красоту, но всегда сопровождала маму в походах за камнями в дальние бухты. Как говорили в Коктебеле, неофитам везет. Я нашла хороший по форме, без изъянов довольно крупный сердолик. Свою добычу все «каменщики» собирали в специально сшитые мешочки (типа кисетов), которые затягивались и вешались на руку — удобно носить и не потеряешь найденное. Я, видимо, опустила мимо. Яшин шел позади меня и нашел его. В полном восторге он побежал показать маме добычу, чтобы она оценила. Я тоже подошла и узнала его. Мне бы промолчать, а я ляпнула об этом. Боже мой, как Яшин вспылил, решил, что я обвиняю его в краже. Такой реакции я не ожидала и стала говорить, что это не мой камень, а просто похожий на него. Но Яшин потребовал показать мои находки. Кое-как маме удалось его немного успокоить. Но забыть этот случай он не мог очень долго и много позже в Москве рассказал об инциденте папе. Вообще, нрав у него был вспыльчивый. В одну из поездок в Козы мама попросила его взять еще молодую художницу. Обычно рядом с А. Яшиным сидела мама, которая совершенно хладнокровно относилась к его весьма экстремальной езде. Но тут она села со мной сзади. На одном из виражей дороги дама стала хватать Яшина за руку и кричать, что он всех погубит. А он так рассвирепел, что хотел выкинуть ее из машины.

По просьбе Ивана Никаноровича Розанова были написаны строки, посвященные друзьям-коктебельцам, увлеченным собиранием камней.

Да, страсть кладоискательства жива
У Черноморской древней колыбели.
О, если б так искали мы слова,
Как камешки мы ищем в Коктебеле.

А знакомство с Иваном Никаноровичем состоялось в июне 1942 года. Вот как он пишет о нем: «Вчера был у старика профессора И. Н. Розанова. Это крупнейший специалист по истории поэзии. Он очень хотел познакомиться со мной. Мне несколько раз звонили из “Литературы и искусства”. И я пошел. Старик страшно обрадовался. Показал мне свою библиотеку. У него собраны все первые издания крупнейших

поэтов XIX и XX столетий. Мои стихи ему, судя по всему, очень понравились. Он упросил меня написать ему в альбом что-нибудь. Я написал два стихотворения. Одно старое — “Боян”, другое — новое — “В суровый час раздумья нас не троньте”.

Прощаясь со мной, старик сказал: “Я очень рад, что вы существуете на свете”» (14 июня 1942 года).

У Рыленкова есть цикл стихов, посвященных Коктебелю, и одно из них о камнях. Называется оно «Галька».

Галька

Сколько гальки у кромки прибоя
Перекатывает волна.
Розоватое и голубое
Сочетает с лиловым она.

Вся мозаика эта цветная
В переливах глазури морской.
Ты стоишь зачарован, не зная,
Что достать тебе легкой рукой.

Каждый камешек кажется глазу
Самоцветом, куда ни взгляни,
Но возьмешь на ладонь их — и сразу
Весь свой блеск потеряли они.

Цвет поблек и оттенки иссякли,
Только мутная синева.
...Ты — художник, подумай: не так ли
Нас обманывают слова!

Как блестит, как играет иное,
Но проверь его, выставь на свет.
Не пленяйся же галькой цветною,
Бойся легких и скорых побед!

1955

Одной из старых традиций, сложившихся в Доме творчества, а вернее, гораздо раньше, еще при жизни М. Волошина, было проведение поэтических вечеров.

Вначале это был узкий круг, собиравшийся у М. С. Волошиной, затем, по мере увеличения числа отдыхающих, — в библиотеке, столовой и даже летнем кинотеатре. Обычно кому-то из известных поэтов поручалось ведение вечера, а он договаривался с остальными. Часто вел такие вечера папа — и как старый коктебелец, и как человек, глубоко знавший и понимавший поэзию. Проходили вечера, как правило, очень интересно, публика была отзывчивой, хотя иногда впечатление портили графоманы, дорвавшиеся до аудитории. Так было, например, на вечере, когда И. Василевский, живший тогда в Смоленске, читал свои стихи.

Н. И. Рыленков. 1955 год

13.09.1961. «Вчера в библиотеке устроили вечер поэзии. Я опять председательствовал. Выступали человек восемь поэтов, среди них наш Иосиф Василевский. Читал он такой плохой отрывок из поэмы, что я сгорел от стыда. Все только разводили руками. Зам. редактора нашей газеты Поздняев сказал мне, что его в Смоленске нужно избить, чтобы он не позорил города. А этот индюк и слушать ничего не хочет, ходит, выставив брюхо вперед, как именинник».

После вечера Рыленков получил послание от отдыхающих, которые, судя по его содержанию, не имели никакого отношения к Дому творчества.

«Уважаемый т. Рыленков!

Мы получили истинное удовольствие и приятное впечатление от состоявшегося вчера вечера встречи с присутствующими в Коктебеле поэтами. Кроме того, появилось желание поглубже познакомиться с литераторами, присутствующими здесь. Просим вас еще раз в этом заезде организовать такую встречу. Пусть уважаемые товарищи поэты прочтут одно-два стихотворения. Не почтут это за большой труд. Хотелось бы знать, где каждый живет и работает. Тушновской (видимо Тушновой) посоветуйте не читать много. Кроме того, здесь, видимо, много прозаиков. Очень хотелось бы кратко познакомиться и с их трудом. А почему бы не могли на таком вечере выступить присутствующие артисты и познакомить нас с их работой. Просим вас, организуйте такой вечер. И еще желательно знать о таком вечере заранее, чтобы не было других планов.

Просим.

Отдыхающие (фамилии)».

24.08.1963. «Вчера был литературный вечер в кинотеатре. Я тоже выступал. Гвоздем был Рождественский, конечно Роберт».

Я не помню, кроме одного случая, чтобы поэты отказывались от выступлений. Только Е. Евтушенко позволил себе это, мотивируя, что ему нужна толпа, а слушателей было сотни две.

Еще одной из традиций Коктебеля были прощальные вечера в сравнительно узком кругу перед отъездом.

В письме от 15 сентября 1966 года Рыленков пишет: «Ну вот, кончаются мои коктебельские дни. Послезавтра я уже скажу “до свидания” морю. Как ни хорошо в гостях, а дома все-таки лучше. Я просто удивляюсь людям, которые из одного дома творчества переезжают в другой. Я работать могу только за своим столом, среди своих книг.

Вчера вечером мы тут провожали Орлова. Миша Дудин, боясь “сорваться”, не пришел даже выпить чарку коньяку. За него была Ирина Николаевна, а он играл с Поздняевым в карты».

Это, по сути, были, по крайней мере те, о которых я знаю, небольшие литературные посиделки. В 1957 году мы занимали две комнаты с террасой. Собралось довольно много народа. Окна распахнуты, огонек и голоса привлекали и новых гостей. Был папин старый московский приятель А. И. Платонов (режиссер радио), который позже познакомил его с Г. С. Титовым, киевская актриса-чтица Н. Я. Каминская с мужем — критиком Евгением Адельгеймом, который был заклеймен в свое время как космополит и стал после долгого битья «святее папы римского», Е. Я. и В. М. Саяновы (он прозаик и поэт), семья Касторских (он литературовед, горьковед, ученик Десницкого, она переводчица), иркутский журналист А. И. Гайдай (брат кинорежиссера Л. Гайдая) с женой Ларисой (редактором на радио) и еще кто-то, чьи фамилии не запомнились. На столе обычно был одесский коньяк и крымское (массандровское) вино, фрукты. Но основное — разговоры и чтение стихов. Я не очень жаловала Маяковского, но в исполнении Нины Яковлевны, которая действительно была прекрасной чтицей, мне он даже понравился. Читала она и по своему выбору, и по просьбам присутствующих самых разных, но очень интересных поэтов. Вкус у нее был отменный, и как истинный профессионал, она любила слушать стихи в авторском чтении, просила папу почитать и что-то новое, и то, что знала давно. В какой-то момент зашел Д. Самойлов. Он тоже читал много, и с удовольствием. Об отдыхающих он сказал так: «Разве здесь есть хорошие поэты? Только мы с вами, Николай Иванович».

В письме от 10 сентября 1965 года Рыленков сообщает жене: «Вчера по случаю рождения внука я устроил маленький прием, на котором, кроме Щепотевых, присутствовали Осетров с женой, Поздняев с женой, Федоров с женой и Благинина с Живовой. Все единодушно одобрили имя: Иван. Осетров, уходя, даже высказал опасение, как бы без меня не передумали отец с матерью и не придумали какое-нибудь другое имя».

Коктебель довольно долгое время оставался не просто приятным местом отдыха, а, скорее, интеллектуальным центром общения, привлекавшим людей самых разных профессий не столько экзотикой дикого края, сколько возможностью окунуться в иную атмосферу духовной жизни. Здесь не только можно было отдохнуть физически, насладиться знаменитой «тройчаткой» Коктебеля — морским, степным и горным воздухом, но и удовлетворить потребности любого мыслящего человека — общения с интересными людьми.

Его почему-то очень любили ученые, особенно физики.

«Знакомых писателей у меня нынче здесь очень мало. Да и писателей тоже не много. Все больше их родственники. Много людей, которые ни малейшего отношения к литературе не имеют. Среди них есть крупные ученые-физики. Один — трижды лауреат Сталинской премии. Это самый скромный и самый интересный народ, гораздо интереснее писателей» (15/IX-54 г., Коктебель).

«Здесь вчера убился еще один человек. А прежнего, оказывается, еще не подняли. Идет следствие. Один — крупный физик, молодой доктор наук из института Курчатова» (23/VIII-63 г.).

«На море вчера утонул один физик, пожилой. С ним в воде случился инфаркт. Сегодня шторм утих» (9/IX-67 г., Коктебель).

В один из приездов мы сидели за одним столом с очень известным физиком-атомщиком Бруно Понтекорво, перебравшимся в Россию учеником знаменитого Энрико Ферми. Он целыми днями пропадал на море, увлекался подводным плаванием и сетовал, что подводный мир Черного моря очень скуден по сравнению со Средиземноморьем. Это был человек очень сложной, во многом трагичной судьбы. Знаменитый создатель авиамоторов, академик Микулин. Высокий, подвижный, увлекшийся созданием аппаратов, омолаживающих человека, за что, как говорили, его отправили на пенсию. Он выступал с длинными лекциями на эту тему в Доме творчества. Приезжал каждый год в Коктебель с новыми молодыми спутницами. В 1955 году с ним была актриса Чередниченко.

Академик-физик Векслер запомнился мне своим внешним сходством с К. Г. Паустовским. Знаменитый конструктор вертолетов Милль. Простой и веселый человек, часто ходивший с нами в походы и страшно боявшийся высоты. Молодой Гранин, вихрастый, в полосатой пижаме, с задиристо-любопытным взглядом. Каверин — невысокий, усталый, в шапочке из носового платка. Нервная, худая, даже изможденная

О. Берггольц, заикающийся Р. Рождественский, зорко посматривающий свысока Евтушенко. Очень, очень много интересных людей.

Но самым главным для меня событием, связанным с Коктебелем, было знакомство с К. Г. Паустовским. Это была холодная середина мая 1953 года. Нам посчастливилось (было очень мало народу) поселиться в одном с ним корпусе — «Корабле». Это был небольшой вытянутый дом, всего несколько маленьких, без окон, комнат, выходивших на общую открытую террасу. Обстановка была самая простая — одна-две кровати, тумбочка и маленький шкаф. Заниматься творческой работой в таких условиях было затруднительно, но, впрочем, люди в те времена были неприхотливы. Кстати, в комнате без окон жил и папа в 1950 году в Волошинском доме. «Меня поместили в комнату, где живут четыре человека. Это, если помнишь, комната без окна, но с верандой, около лестницы на палубу».

Константин Георгиевич был заядлым рыбаком и почти каждый день уходил довольно далеко в сторону Мертвой бухты. Пойманную рыбу отдавал либо в столовую, либо шахтеру, ловившему вместе с ним.

В столовой отдыхающих посадили компактно, столы стояли близко друг к другу, образуя как бы единое пространство. За завтраком не засиживались, расходились — кто-то шел поработать, кто-то на пляж или прогулку. Зато за обедом и ужином велись долгие, очень занимательные беседы, центром которых был Паустовский. Рассказчик он был просто блестящий. Говорили обо всем — литературе, путешествиях, жизни. Тихий, глуховатый голос его приковывал внимание и не отпускал до конца разговора. Темы менялись, но интерес не ослабевал. Однажды Константин Георгиевич затеял не то игру, не то проверку знания поэзии присутствующими. Он прочел одну строчку: «Это было у моря...» и предложил по кругу продолжить чтение стихотворения. Повисло долгое молчание. Мы сидели за другим столом, но близко, и мама стала тихонько читать мне дальше, назвала автора. Удивились все. Это послужило сближению с Паустовским. Начались долгие вечерние разговоры на веранде. Конечно, в основном говорил Константин Георгиевич. Фактически мы услышали устный вариант того, что стало потом романом «Повесть о жизни». Кое о чем я уже знала из его повести «Далекие годы». Но рассказы были настолько живыми, настолько захватывающими, что казалось — все события проходят перед твоими глазами и с твоим участием. Он был уникальным рассказчиком и любил это делать.

Константин Георгиевич не болел «каменной болезнью», но с удовольствием любовался собранными мамой камнями, и я решила подарить ему, как напоминание о Коктебеле, самый хороший камень, найденный мной в Лисах, — довольно крупный, хорошо обкатанный морем розовый сердолик в тончайшей, как паутинка, белой «рубашке». Константин Георгиевич пообещал по дороге в Прибалтику заехать к нам в Смоленск и действительно так и сделал. Папа в это время был в Коктебеле, и мама помогла Паустовскому с заправкой его «победы» бензином, так как тогда это было большой проблемой. А мне на память о нем и Коктебеле остался его однотомник с дарственной надписью.

«Я очень рад, что по соседству с вами живет Паустовский. Это очень хороший писатель и, вероятно, хороший человек» (20/V-53 г., Смоленск).

Многое о Коктебеле, его обитателях и нравах, царивших там, можно узнать из писем Н. И. Рыленкова.

12.09.1948. «Нужно очень многое обдумать. Я тебе уже по телефону из Москвы говорил, что был у Осина. Был у меня с ним один любопытный разговор, который не дает мне покою. Когда был у нас Грибачев, я написал Осину в Сочи письмо, в котором есть такая фраза: “Приезжал Грибачев, держится молодцом, чувствует себя хозяином литературы”. Написаны эти слова были сгоряча. И вот Осин сказал мне: “Я от тебя этого не ожидал. Ты выдержал нападки Твардовского, сумел тогда сохранить свой голос — и вдруг отступаешь перед Грибачевым”.

И я там же вспомнил тебя, твои слова по этому поводу. И когда я рассказал Осину, как ты ко всему этому относишься, он обрадовался и сказал, что не пожалеет денег и позвонит тебе в знак солидарности по телефону.

Сейчас мне совершенно ясно, что я немножко растерялся перед фактом неожиданного возвышения Грибачева. Неужели это признак приближающейся старости? Но ты у меня молодец! Ты тысячу раз права, когда ругаешь меня за малодушие. Кстати, Твардовский, с которым я тоже встречался в Москве, сказал мне “в благородном подпитии”, что я “последний из могикан в советской поэзии”. Говоря честно, это мне было приятно услышать именно от него. Значит, нужно хранить священный огонь. Вот об этом я раздумываю».

(Н. М. Грибачев получил в 1948 году Сталинскую премию первой степени за абсолютно конъюнктурную вещь — поэму «Колхоз «Большевик», а в 1949 году — второй степени за поэму «Весна в «Победе».)

14.09.1950. «Мои соседи вчера уехали, и я думал, что теперь буду жить один, но сегодня ко мне приселили Михаила Зенкевича с сыном. Он старик очень хороший, только очень разговорчивый и беспокойный. <...> Нынче в Коктебеле страшная перегрузка. Народу много, а писателей — раз, два — и обчелся. Все какие-то никому не известные люди, а ходят как гении, даже страшно становится».

07.09.1951. «Тоска тут ужасная. Страшно много всякой аристократии — жена Алексея Толстого, дочка

(или внучка — точно не знаю) Горького, Бажан. Приезжал на своей машине Жаров за сыном, разъезжает на собственной “победе” Яшин. Перед ними дирекция ходит на цыпочках, а у нас в комнате даже стола нет».

15.09.1954. «О Саше ничего нового не слышал. Новиков мне говорил, что он страшно пьет, но это уже не новость. Чтобы его исключили из Союза — трудно представить. Для этого нужны очень веские, чрезвычайные причины. Мне кажется, такие разговоры — пустая болтовня... Но грустно уже то, что идут такие слухи. Саше нужно было об этом подумать... Тебе передает привет Марья Степановна. Она очень постарела. Приехала Благинина. Она тоже в очень грустном состоянии. У нее недавно умер муж, умер скоропостижно. Пошел играть к соседям в шахматы, а оттуда его принесли без сознания... Но рядом с нами живет какой-то ленинградский профессор, которому уже 75 лет, а он бегает как молоденький. Мы все смотрим на него и завидуем, хотя тут он, как все старые профессора, так же самоуверен. Может быть, поэтому он и здоров».

23.09.1954. «Завчера в “Правде” была статья Щипачева о поэзии. Там он и меня причислил к лику святых. Эта статья вызвала тут много разговоров. Я не поклонник Щипачева, но дело не в нем, а в том, что статья появилась в “Правде” и в ней, хоть и довольно туманно, сказано, что чистая лирика имеет право на существование. После этого станет хоть немножко легче отстаивать свои позиции. Словом, статья меня обрадовала.

Здесь ходят разговоры, что председателем Союза прочат Шолохова. На сколько основательно — сказать трудно. Но его поездка в Казахстан на съезд не случайна. Между прочим, в своем выступлении он ударил сразу по двум своим врагам — по Эренбургу и по Симонову, сказав, что Симонов затушевывает недостатки повести Эренбурга. Об этом здесь тоже много говорят».

25.09.1954. «Надоело болтаться без дела, слушать пустую болтовню окололитературной братии. Нынче я просто возненавидел всю эту публику, которой нет дела ни до чего, кроме самой себя, своих мелких интересов. В литературе эта шатия ни черта не смыслит, а говорят так, как будто только они и могут судить.

Я с гораздо большим уважением отношусь к научным работникам, которые отдыхают здесь. У них хоть что-нибудь есть за душой. Вчера, например, руководитель советской делегации на всемирном конгрессе ботаников рассказывал об Африке. Он был в Сенегале и Мавритании... Но писателям его рассказ показался скучным».

06.09.1961. «Тут все говорят, что с бумагой дело не улучшается, что везде сокращают планы изданий. Просто беда. Говорят, что в Симферополе партийная конференция записала в своем решении, что писательский гонорар очень велик и его нужно снизить. Я боюсь, что эта инициатива будет подхвачена. Все это грустно, хотя есть вещи более грустные».

07.09.1961. «Очень много ходим, каждый день. В походах как-то незаметнее проходит время. А вечерами я просто не знаю, куда девать себя. Так одиноко без тебя. Вчера, правда, в двенадцатом часу зашел ко мне Василий Федоров, и мы почти до часу проговорили о стихах. Он серьезный и, по-моему, хороший человек, талантливый поэт.

Сейчас семь часов. Я допишу письмо, отправлю его и пойду купаться».

15.09.1961. «Вчера я ездил с экскурсией в старый Крым, ездил специально, чтобы побывать в Армянском монастыре. Монастырь этот произвел на меня громадное впечатление. Очень грустно, что мы не умеем ценить свое культурное достояние. Там я лишний раз убедился в справедливости старой поговорки, что дуракам грамотность не впрок. Все стены монастыря исписаны глупейшими надписями. И никто даже не догадался повесить табличку: портить стены памятника — варварство, более того — кощунство. Побывал еще раз и на могиле А. Грина. На решетке ограды я разобрал две надписи карандашом.

1. “Советский обыватель, сколько ты ни читай Грина, ты в нем ничего не поймешь — потому, что ты скот, а Грин видел в человеке человека”.

2. “Обнажи голову, здесь покоится гений романтики, замученный мещанами”.

Заехали мы и в домик, построенный на месте лачуги Грина. На домике вывеска “Здесь жил и работал А. С. Грин в 1930–1932 гг.”. Даже здесь не могли написать точно. Объяснения давала жена Грина — розовая, благообразная старушка, которая, как говорят, в последние годы не жила с Грином, и он умирал в полном одиночестве. А какой это был волшебник, и какой трудной судьбы человек».

21.08.1963. «Доехал я очень хорошо. В Москве купил мягкий билет. Ехал в купе с известным музыкантом-балалаечником, лауреатом государственной премии Нечипоренко... Из знакомых уже видел Ваншенкина и Баруздина. Все обсуждают “загробного” Теркина и все пожимают плечами. У всех ощущение, что явления не получилось. Удивляются шумихе, которую поднимают вокруг этого дела газеты».

22.08.1963. «Днем только и разговоров, что о заявлении китайского правительства и о нашем ответе. Все возмущены наглостью китайцев. Я набрал в библиотеке книжек. Читаю “Соки земли” Гамсуна. Правда, сокращенное издание».

27.08.1963. «Сегодня в “Курортной газете” за моей подписью напечатано чужое стихотворение. Сейчас буду писать письмо в редакцию».

28.08.1963. «Сегодня за долгий срок прошел первый настоящий дождь, а я закончил давно задуманный рассказ. Я знаю, ты будешь меня ругать, что пишу на отдыхе, но подперло так, что я не смог откладывать. Рассказ, кажется, удался. Сейчас читал его Цареву. Ему очень понравился. Говорит — трогает».

28.08.1963. «Вчера я купил двухтомник А. Грина, выпущенный Крымским издательством. В нем много рассказов, которые раньше не публиковались, я читаю их с наслаждением».

01.09.1963. «Приехал из Воронежа один наш общий знакомый и рассказал очень грустные вещи. Зима, видимо, предстоит очень трудная.

Я читаю А. Грина, на другие не хватает энергии. Хожу мало, не с кем».

25.08.1965. «Вчера приехала группа молодых писателей и поэтов — Аксенов, Окуджава и т. п., и теперь на старой территории страшно шумно. У нас же пока тихо. Ожидается приезд Ольги Берггольц. Дай бог, чтобы ее поселили не по соседству с нами. Вася Федоров ходит мрачный. В журнале “Вопросы литературы” разругали его книжку».

28.08.1965. «Вчера первый раз ходил в горы. Водил Эткинд по совершенно новому маршруту. Вернулись около восьми часов вечера. На нашей территории пока тихо, а на московской шумят каждую ночь молодые поэты. Приехала Берггольц. Совершенно растерзанная. Ее поселили в болгарском домике, на отшибе, одну. В общем — все как всегда... Статья Баруздина мне не понравилась. Есть в его похвалах что-то очень неприятное».

05.09.1965. «В минувшую ночь на территории Дома творчества случилось чрезвычайное происшествие. Обворовали сразу две комнаты. Хозяева ушли в кино, а воры тем временем и обчистили их. Вызвали милицию с собаками, след привел к автобусной остановке и пропал. Словом, найти пропажу не удалось, а шуму хватило на всю ночь».

07.09.1965. «Вчера ночью было нападение на Авдеенко, который живет в нашем корпусе. Нынче это здесь стало просто стихийное бедствие».

26.08.1966. «Вчера уже начал купаться, хотя купаться теперь в Коктебеле очень неудобно. Весь берег смыт. Устроили общий дощатый помост для мужчин и женщин, с лестницей в море. Для одевания, вернее, переодевания, построили одну общую будочку, и к ней всегда очередь. Многие уходят в мокрых плавках, но я не рискую после прошлогоднего воспаления. А вода очень теплая, больше 20°».

27.08.1966. «Видела ли ты восьмой номер “Октября”. Там рецензия Баруздина на “Сказку моего детства”. Рецензия добрая, но меня мало устраивает эта трибуна».

29.08.1966. «Запрошлой ночью ожидали маленькое землетрясение, но ничего не было. Говорят, что многие из-за этого отказались от путевок, боясь повторения турецкой катастрофы».

30.08.1963. «Завчера у нас был сумасшедший день. У одного из соседей пропала дочка 14 лет. Мы с Виктором и Поповским сбились с ног в поисках. Отец лежит больной, t°— 39°. Дочка приехала к нему из Ялты на один день, пошла искупаться и пропала. Вернулась только ночью».

31.08.1966. «Понемножку читаю, но до сих пор еще не сделал своего заключения по премиям. Одолела лень. Ни за что не хочется браться... Миша Дудин посвятил мне сонет, который он написал здесь, и об этом уже знает весь поэтический Коктебель. Он тоже не хочет ехать на комиссию по премиям».

03.09.1966. «Вчера в “Курортной газете” напечатана была заметка “У Коктебельской бухты”, где говорится, что в Доме творчества отдыхают... “ленинградцы Вера Панова, Михаил Дудин, Ольга Берггольц, смоленский поэт Николай Рыленков и многие другие. Всего 230 человек”. Москвичи восприняли это как дискриминацию. Виктор говорит, что надо устроить демонстрацию протеста».

06.09.1966. «Сегодня отправляю в комиссию по премиям свое заключение о том, кого следует оставить для дальнейшего обсуждения. Что из этого выйдет — одному богу известно. Дудин что-то хитрит».

09.09.1966. «Я уже писал тебе, что один московский композитор написал на мои стихи песню, которую взял ансамбль Александрова, и что солист попросил переделать две строчки. Вечером мне позвонил композитор, и я передал ему новый вариант. Он его одобрил... Нынче в Коктебеле нет прежнего уюта, да и люди уже не те. Старых коктебельцев очень мало. По вечерам сижу один, читаю. Прочитал “Святой колодец” Катаева. Мне очень понравилась эта вещь. Написана она с блеском».

11.09.1966. «Я только что дочитал в “Новом мире” повесть Можаева “Из жизни Федора Кузькина” и буквально потрясен. Так о деревне не писал никто, даже Солженицын. Читая эту повесть, я и смеялся, и плакал. Просто удивительно, как Твардовскому удалось отстоять ее.

Осинин прислал и сюда номер “Красной звезды” с рецензией на мою книжку. Она не очень глубока, но сказано в ней все, что можно сказать доброго о моей лирике

Такие рецензии обязывают ко многому. Меня уже очень тянет к столу. Пора браться за работу».

23.08.1967. «Евгений Иванович Осетров говорил, что около 10 сентября будет большая передача обо мне — его статья и чтение моих стихов и прозы, примерно — на час. Время очень удобное — 8 часов вечера. Послушай».

25.08.1967. «Сегодня видел садовника Степана Алексеевича. Он говорит, что собираются восстанав-

ливать пляж, что на это отпущены большие деньги. Двадцать лет портили берег, а теперь спохватились».

28.08.1967. «Вчера в “Комсомольской правде” я прочитал, что телевизионная передача по моей повести “Мне четырнадцать лет” будет 2 сентября в 8 часов 10 минут по второй программе. Если будет возможность — посмотри».

04.09.1967. «Вчера с почтой пришла “Литературная Россия” с моей статьей. Дали ее хорошо, но выбросили одну фразу — о трагических столкновениях и недоразумениях. Это меня очень огорчило. Все приобрело другой, облегченный смысл. “Сельская жизнь” перепечатала мою “Осеннюю радугу”».

07.09.1967. «Сегодня Сережа Орлов рассказал мне, что ему сообщили из Ленинграда о происшедшем у них дворцовом перевороте. Свергли с престола Мишу Дудина. Я с самого начала знал, что долго он не удержится. Слишком он занят собой. Избрали Гранина. Этот поумнее, да и опыта у него побольше. Вот главная литературная новость».

11.09.1967. «Завтра буду слушать радиопередачу. Очень жалко, что ни тебе, ни мне не удалось посмотреть по телевизору “Мне четырнадцать лет”. Женя написал мне, что ему очень понравилось. В журнале “В мире книг” (№ 8) очень хорошая рецензия на “Сапшо”».

От всего преходящего в мире море отличается своим постоянством, проявляя свой неугомонный, а подчас и строптивый характер, одинаково во все времена и эпохи. Для Рыленкова оно было связующей нитью между далеким прошлым и настоящим, освежало глубокое чувство истории, столь присущее ему.

Бродя по тропинкам, дорогам и горам Коктебеля и его окрестностей, Старого Крыма, Судака с его старинной Генуэзской крепостью, он представлял себе историю не только Крыма, но и Древней Греции. Будучи великолепным знатоком ее мифов, часто рассказывал их нам с сестрой в детстве за длительными воскресными обедами. Как мне кажется, увлечению Рыленкова историей Древней Греции в какой-то степени способствовал Волошин, хотя история полюбилась ему еще в школьные годы. История сближала этих столь разных на первый взгляд людей. Очень показателен в этом отношении ответ Рыленкова на вопрос, что для него земля и труд землепашца.

Он начал так: «Из Древней Греции дошла до нас замечательная легенда о Гомере и Гесиоде. Два этих поэта выступили на состязании певцов во время олимпийских игр. И, как рассказывается в легенде, лавровый венок получил не Гомер, который прославлял войну, а Гесиод, воспевавший труды и дни земледельцев и сам пахавший землю... Конечно же, поэты всех веков воспевали земледелие отнюдь не в погоне за лавровыми венками, но греческая легенда — очень яркое свидетельство того, что лучшие умы человечества всегда считали труд хлебороба “самым почетным и самым благородным трудом, дающим наибольшее нравственное удовлетворение человеку”».

Об этом Рыленков говорил в шестидесятые годы. А во время войны, в тяжелом 1942 году, написано фактически автобиографическое стихотворение «Командир батальона читал до зари “Илиаду”», где сплетались и Древняя Греция, и оборона Москвы, напоминающее нам о связи всех событий в этом мире:

Командир батальона читал до зари «Илиаду».
Стол дощатый скрипел, и огарок чадил восковой,
И в ночи открывалось его воспаленному взгляду
Не сраженье у Трои, а бой под любимой Москвой.

Мужа в бой провожая, там слезы не льет Андромаха,
Но, сжимая оружье, встает с ним бок о бок она...
А в штабную землянку из мутного снежного праха
Шел рассвет. И его посылала со сводкой война.

Конечно, Рыленкова и Волошина объединяла не только глубокая любовь к истории, и в частности истории Греции, понимание ее значения для цивилизованного мира, но и сходные взгляды на предназначение художника, умение оставаться самим собой в сложных обстоятельствах, не теряя чести и достоинства, доброта, умение любить и прощать людей. Они не только исповедовали фактически одни этические нормы, но и жили по ним. Об этом много стихов у Рыленкова.

Уйдешь от всех ты,
Кто тебя ни судит,
Но не уйдешь
От совести своей.
Она вернет с пути,
В ночи разбудит,
Не только слово —
Мысль подсудна ей.

11 декабря 1967 года

Опушка — что?
Вздохнуть и оглядеться.
Я лес люблю.
Он из глубин возник.

Язык деревьев
Нравится мне с детства,
Лукавить не умеющий
Язык!

10 декабря 1967 года

В чужих речах
Словам не веря выспренным,
Чувств, что на сцену рвутся,
Не любя,

Ты должен сам
Быть и простым и искренним,
Иль завтра станешь
Презирать себя.

19 мая 1968 года

Ровеснику

К нам все дороги поисков сошлись,
Нас, возмужавших в грозовые годы,
Учил Некрасов всматриваться в жизнь,
А Тютчев — постигать язык природы.

9 июля 1964 года

Как ремеслом искусно ни владей,
Из праздных слов не сложишь стих напевный.
Святое право волновать людей
Дается лишь тревогою душевной.

11 мая 1968 года

Не нужно
Мудрствовать лукаво,
Живи всегда
На полный вздох,
Чтоб разделить
Ты сам не мог,
Где долг священный твой,
Где право.

25 января 1969 года

Мы говорим: «Секреты мастерства!»
Постигнуть их стараемся упорно,
А мастер знает лишь одно бесспорно —
Что все черствеет, коль душа черства.

5 октября 1963 года

Поэзия, караешь ты сурово
За каждое кощунственное слово.
Второй натурой ставшее притворство,
Как ржавчина, съедает стихотворца.

9 января 1963 года

Да, безусловно, Волошин и Рыленков — совершенно разные люди и поэты во многих отношениях (по происхождению, воспитанию, социальному окружению, жизненным событиям), но в то же время во многом духовно близки, ибо моральные принципы вечны.

«Коктебельская элегия» была напечатана дважды — в 1976 году с некоторыми изменениями, а в собрании сочинений 1985 года — в первоначальном варианте.

Одной из «старых коктебельцев», написавшей много песен, адресованных тесному кружку их, была замечательная поэтесса и переводчица Е. А. Благинина, или, как ее ласково называли, Благиша. Письмом ее, адресованным Е. А. Рыленковой, моей маме, я заканчиваю этот рассказ.

«Москва, 3 мая 1987 г.

Дорогая Женя!

Простите, что я называю Вас без отчества, но, увы, забыла его. А может, оно и к лучшему — так теплее, уютнее.

Помните, у Макса Волошина:

Было, все было,
Так полно, так много...

И правда, как часто в своем воображении я сижу на берегу Енишарского залива, или стою на дивной высоте Кара-Дага, или бреду по дороге к Старому Крыму. И всегда со мной рядом милые мои друзья — коктебельцы, а среди них и Коля Рыленков — дивной чистоты человек, а рядом с ним его подруга Женя — скромница и умница.

А застолья-то наши!

Сердец сомкнулся тесный круг,
Его не разорвать...
Чего ни отдал бы ты, друг,
Чтоб встретиться опять!

И действительно, чего бы я не отдала за то, чтобы встретиться опять. Но... комментарии излишни.

Вы не можете себе представить, как меня обрадовало и растрогало Ваше письмо, за которое я Вам от всей души признательна. Если соберетесь ответить мне, напишите, как Вам живется, кто с Вами и, если можно, пришлите “Коктебельскую элегию”, которой у меня нет. Если же это невозможно, тогда сообщите, где она напечатано, я достану и умудрюсь как-нибудь снять ксерокопию.

Обнимаю Вас нежно.

Ваша Е.А.».

п. Пржевальское, июль 2016 года